

Галина Педаховская

На берегу прошлого

Назад, назад... В глубины памяти. Ей... всегда хотелось уловить то первое воспоминание, первое дуновение сознательно воспринятой жизни, когда безграничное предшествующее ничто сменилось коротким мигом, отмеренным ей, что, собственно, и есть жизнь. Зачем ей это? Чтобы четко ощутить себя крошечным звеном той возникающей из темноты и исчезающей в темноте цепи, называемой человечеством? Или гордое стремление вопреки своей малости почувствовать свое «я», а все огромное остальное вместить в себя, сказать то вечное: «Оно существует только потому, что его вижу, осязаю»?

Мысль отбрасывала одну картину за другой: раньше, что-то было еще раньше... нечто тягостное. Вот оно: темный округло-бесформенный образ – бабушка, мать отца. Память хранит ощущение если не зла, то, во всяком случае, недоброты, нелюбви. Много лет позднее она узнала, что бабушка плохо отнеслась к ее рождению, считала ненужным поздним ребенком. Был ли это перенос позднего знания в прошлое? И тут же, рядом, яркое, четкое: бабушка пьет чай из большой чашки с ярко-синей каемкой и золотыми колосками по ней. Родители недоверчиво удивлялись: «Ты не можешь помнить. Бабушка умерла, когда тебе было два с половиной года. Хотя в самом деле, это была ее чашка...».

Следующее воспоминание летнее, теплое. На даче... В прозрачной полутени акаций стоит оцинкованная ванночка, в которой ее обычно купают. Ванночка наполнена нагретейшей на солнце водой, ее бортики слегка обжигают, когда к ним прикоснешься. Она плещется в этой воде, в которой плавают упавшие с дерева листочки, какие-то мошки, по неосторожности залетевшие в воду. Это заменяет

сегодня по какой-то причине несостоявшееся купание в море. Она взбаламучивает руками воду, листики и букашки кружатся в незамысловатом хороводе. Ей весело. Она не одна. Понимание того, что эти хорошенькие яркие создания погибли, еще не пришло.

А потом был день, когда на нее обрушилась необозримость мира. Дача стояла на самом краю высокого обрыва, круто спускавшегося к морю. По обрыву, причудливо изгибаясь, вилась выкрашенная ярко-голубой краской легкая деревянная лестница, ее отдельные марши скреплялись между собой под самыми невероятными углами. Мать ставит ее на невысокую каменную ограду, идущую по краю обрыва, и она с высоты впервые видит огромность моря, теряющуюся вдаль, на нее обрушивается ослепительная яркость красок – пронзительная синева моря, глубокая голубизна неба, белизна облаков и поток солнечного света. Она чувствует всем своим маленьким тельцем тугой напор ветра, наполняющий гулом воздух, слышит шум прибоя. Она дышит приоткрытым ртом, слегка задыхаясь от волнения, напряжения: всего слишком много – света, звука, пространства.

– Позови Игоря, – говорит мать. – Громко позови.

Это о брате; она видит внизу между камнями у самой воды его маленькую фигурку. Он ловит рыбу – бычков. Сейчас, летом, это занятие поглотило его целиком. Напрягая все свои силы, она кричит:

– Иги...и! – так она называет брата. Но шум ветра и прибоя не пропускает ее слабый голос, он остается здесь, никуда не отлетая. Она в отчаянии готова плакать – брат не слышит.

Мать смеется:

– Не плачь! Мы сейчас спустимся вниз.

Дни были томительно длинными, светлыми, для Натки они не кончались. Она засыпала, устав от игр, прогулок с няней Таней, сказок, еще засветло. Утро снова начиналось светом, солнцем, и Ната думала, что летом ночей не бывает.

* * *

Мир врывается в сознание отдельными событиями, выпадающими из обычной жизни. Вот опять, опять пришло это настойчивое желание уловить то мгновение, когда жизнь в ней и жизнь

вокруг нее слились в единый поток, хотя, может быть, поначалу в ручеек, чтобы потом превратиться в реку впечатлений, образов, всего того, что и есть осознание. Но пока лишь возникали осколки воспоминаний, окрашенные в цвета ощущений.

Вот малиновый, нет, красный. Она снова на даче, на террасе с матерью и братом. Он, как всегда, когда не занят рыбной ловлей, читает, не поднимая на них глаз, и, наверное, их и не слышит. Он умеет увлекаться и уходить в себя и в воображаемый мир. Ната не понимает, где он, но четко чувствует, что в эту минуту он не с ними, и это ее тревожит, и даже раздражает.

Мать держит в руке какой-то красный странных очертаний кусочек картона и говорит ей:

– Ну, присмотришься – куда он подходит?

Они раскладывают на столе детскую мозаику. Перед ними образец – картинка, изображающая встречу Красной Шапочки с Волком. Она стремительно, радостно протягивает руку: ей ясно – это часть красного капора, что украшает голову нарисованной девочки. Она не успевает завершить движение, как из глубины дома до них донесся крик – он приближался, кричал отец, слов она не могла разобрать. Мать схватила ее и отбежала в дальний угол веранды, подальше от двери, ведущей в комнаты, прижала к себе, прикрывая руками. Брат оказался в противоположном углу веранды, он уже сидел на балюстраде, готовый спрыгнуть в сад. Из двери выбежал отец, в его руках пылал огненный шар.

– Бросай, Андрюша, бросай быстрее! – отчаянно закричала мать, больно сжав Наткины плечи. Голос матери был чужой, он испугал ее больше, чем огонь в руках отца. А он, не сбегая по ступенькам террасы, с силой отбросил то, что пылало у него в руках. Оно упало в середину куста жасмина, что рос у террасы, и в ту же секунду с грохотом разорвалось. В воздух полетели ветки, листья, а на аллею упали горящие тряпки и бесформенные куски чего-то еще. Огонь на солнце был почти не виден, только куст стал съеживаться, терять знакомые очертания. Ната смотрела на куст, который становился совсем другим, – а ведь он был здесь всегда, и всегда был таким, как минуту тому назад.

Мать отпустила ее, и она села на пол, ее маленькие ноги почему-то ослабели. Мать, как бы не видя ее, переступила через

нее и подбежала к отцу. Она обхватила его за плечи, трясла его, билась головой о его грудь и все повторяла:

– Андрюша!.. Как ты мог, как ты мог! Ты ожегся, да? Нет? Как ты мог?

– Успокойся... Не плачь. Все прошло.

– Ты мог погибнуть, еще секунда, Андрюша, и тебя бы не было...

– Не знаю... Я не успел подумать. Боялся, что дом сгорит, что вы испугаетесь. А в общем, наверное, не очень понимал, что делаю.

Брат молча вынес из кухни ведро, наполнил его водой из крана в саду и вылил его на горящий куст, потом еще и еще. Огонь погас, и почерневший куст пугал Натку не столько своим уродством, сколько исчезнувшей красотой. Она сидела на полу и беззвучно плакала, ей казалось, что все о ней забыли, вероятно, это было первое предчувствие одиночества среди людей. А к заборчику, вернее, к колючим кустикам барбариса, которые условно выполняли его роль, уже подбегали взволнованные соседи.

– Ничего, ничего, – ответил отец, – все в порядке, у нас просто взорвался примус.

Мать, как будто очнувшись, подбежала к Натке, взяла ее на руки и молча поцеловала. Натка почувствовала знакомое тепло, прижалась, и волнения отступили, но в маленькой душе осталась память о первом страхе – она сидела на полу веранды одна, совсем одна...

* * *

Воспоминание цветов тьмы и света... Снова дача, лето, вероятно, следующее. Однообразие зимы не запомнилось. Кустики лилий и пионов уже не кажутся Натке такими высокими. Теперь она не теряется в них, а даже немного возвышается и может сверху долго разглядывать то, что находится в глубине белых и оранжевых чашечек лилий, – мохнатые от желтой пыльцы тычинки, букашек, залетевших в цветок, и тоже желтых от налипшей на них пыльцы. Томительный сладостный запах лилий плывет над аллежкой, которая ведет от калитки к дому, – они растут ровными рядами по обеим ее сторонам.

– Не стой долго возле лилий, Ната, – кричит няня Таня, – голова будет болеть.

Натка не возражает, но и не верит ей: болит коленка или рука, когда ударишься, но разве может болеть голова от запаха цветов? Но все-таки голова слегка кружится, и запах лилий уже не кажется таким приятным, и Натка убегает в другой конец сада – подальше от цветов, которых она чуть-чуть боится.

Сад был целым миром, в котором можно было спрятаться от взрослых, заблудиться, найтись, пережить приключения. Во всех направлениях его прорезали канавки, по которым текла вода. Дачники открыли для себя способ полива садов, известный уже тысячи лет азиатскому миру, но в новом варианте: шланг насаживался на кран и опускался в ближайшую прорытую канавку. Ее разветвления подходили к каждому дереву, к каждой клумбе. Натке нравилось смотреть, как течет вода, а вместе с ней плывет листочек. И можно проследить, как он движется, где приостанавливается, а где его закручивают маленькие водовороты. Земляные стенки канавки размывались и осыпались в воду, задерживая ее движение. Тогда Натка брала свою лопатку и расчищала русло ручейка. Ей было приятно думать, что она, такая маленькая в сравнении с огромным раскидистым ореховым деревом или старыми с корявой корой абрикосовыми, помогает им, дает возможность напиться вдоволь в знойный августовский день.

Ореховое дерево росло в дальнем углу сада. Оно было огромным – раскидистым и высоким, самым высоким в округе, его видно было издали. Своей величиной оно поражало Наткино воображение, она часто входила в его тень, трогала руками гладкий серый ствол, за которым могла спрятаться не только Натка, но и взрослый человек. Она слышала как-то разговор родителей, рассуждающих о том, сколько лет может быть этому дереву, которое, как они предполагали, старше домов, его окружающих, и всех остальных деревьев в их дачном поселке.

Орех целиком принадлежал Игорю и его товарищам, сбегавшимся со всего поселка к ним в сад. Они взбирались по растущим в правильном порядке ветвям ореха на самый его верх, где ветки уже истончились и опасно раскачивались под их тяжестью. Иногда старый орех превращался в пиратский корабль, и до Натки сверху

доносились крики: «Поднять паруса! Спустить паруса! На abordаж! Красавицу – в каюту капитана!». Последнее распоряжение казалось Натке загадочным. В другой раз орех был воздушным шаром, на которм мальчишки летели в Центральную Африку.

Натка слонялась под деревом и канючила – просила взять ее наверх. Мальчишки смеялись: «Девчонок не берем. Подрости, малявка, тогда посмотрим». Иногда, смилостивившись, Игорь подсаживал ее на толстенную нижнюю ветку, и она в каком-то метре над землей, обхватив ее ногами, тоже чувствовала себя путешественницей, готовой к встрече с чем-то опасным и интересным. Но вскоре, не включенная в мальчишескую игру, она начинала скучать и просила спустить ее на землю. Мальчишки вредничали, кричали: «Сиди, сиди, сама же просила!». Но потом кто-нибудь, сжалившись, спускался и, протягивая к ней руки, говорил: «Прыгай!» – и Натка с замирающим сердцем, закрыв глаза, падала в протянутые руки с ощущением, что и она пережила приключение.

* * *

Иногда тихое течение так любимой Наткой дачной жизни нарушалось – наступали дни, которые вызывали у нее раздражение и обиду, они назывались непонятным ей словом «выходные». Папа и мама в эти дни не уходили на работу, оставались дома, но их внимание не принадлежало целиком, как хотелось бы, ей. Натка не любила эти дни, она распознавала их еще утром, едва открывала глаза. Обычную тишину дома сменяли быстрые шаги, лязг доставаемой из шкафов посуды и гулкий грохот хлопающих дверей, доносящийся голос матери:

– Игорь, расставь под деревьями в тени шезлонги и раскладушки. Таня, возьми на столе список и купи все, что я написала.

Однажды в такой день Натка, шлепая босыми ногами по прохладным половицам, вышла из комнаты, где она жила вместе с Таней, и недовольно ворчала:

– Опять этот входной день...

Андрей потрепал ее по спутанным кудрявым волосам и поправил:

– Выходной, сегодня воскресенье, выходной день, когда все отдыхают, не работают.

– Нет, – упрямо повторила Натка, – входной – все приходят, приходят, и никто не уходит.

С тех пор и пошло: воскресенье на даче называлось «входной день». А входить было кому. У Андрея после смерти родителей никаких родственников не было. По оставшимся документам Андрей знал, что его отец был родом из города Ямполья, что где-то в Винницкой области, что дед его был церковным причетником, а отец его почему-то – причина никогда не упоминалась – совсем молодым, почти ребенком, ушел пешком в Одессу и никогда с родственниками никаких отношений не поддерживал. Андрей полностью растворился в Нининой семье, дружил с ее тремя братьями, был добр и гостеприимен – шумные многолюдные встречи по воскресеньям на даче доставляли ему удовольствие. Дружить по службе, для пользы дела он не умел и не любил. Нина была младшей, братья относились к ней с нежностью и любили Андрея за его любовь к Нине, детям, за то, что Нина была с ним счастлива.

Вот они-то со своими женами и детьми и были гостями во «входные дни» на даче. Постепенно сложился ритуал этих встреч. С треском распахивалась калитка, и на аллейке появлялась молодая поросль – двоюродные Игоря и Натки, которые, обогнав старших, первыми входили, или, точнее, врываются в сад. Впереди всегда была шестнадцатилетняя Тamarка, дочка дяди Ильи и тети Веры, высокая, костлявая, с размашистыми движениями, в развевающейся юбке, готовая в любой момент на решительные и опрометчивые поступки. В большой семье проходила под кличкой Шкода. За ней неторопливо двигались Машка и Мишка – дети дяди Кости и тети Паши. Чуть полноватые, негромкие в сравнении с Тamarкой. Маша и Тамара были ровесницами, даже Маша на несколько месяцев старше, но верховодила всегда Тамара. Она и сейчас торопливо здоровалась:

– Привет, тетя Нина! Привет, дядя Андрюша! – и по своей привычке командовать уже кричала: – Игорешка, ты готов? Двинули скорее на берег, сейчас самое-самое время, а то дальше будет жарко – сгорим сразу, – на всякий случай, чтобы не увязалась, говорила Натке: – А тебе с нами нельзя, еще мала.

Натка знала, что ее без взрослых не отпустят к морю, но все равно было обидно, и она, надув губы, отошла в сторону. Игорь

не выдержал Тамаркиного напора, и они вчетвером скатились с обрыва к морю.

А в саду появились уже остальные – Нинины братья с женами. Впереди шел старший – Александр. У него с тетей Надей детей не было; он обожал племянников, баловал, дарил подарки – и всегда желанные, радующие. И сейчас он привез Натке большой мяч в красивой плетеной сетке – красную половину мяча от синей половины отделяла узкая белая полоска.

Кошелки с провизией относились в кухню, из них извлекались «фирменные» блюда теток. Кто-то тут же шел на пляж, другие рассаживались в шезлонгах в тени, и начиналось то, что Натка более всего не любила: ее, самую младшую, передавали из рук в руки, рассматривали, восхищенно уверяли друг друга, что она за прошедшие неделю-другую заметно выросла, обязательно спрашивали, какой новый стишок она выучила, тормошили, тискали и целовали. Натка быстро уставала от такого избытка любви и внимания; у нее было одно желание: если уж нельзя побыть с мамой, которая занята всеми этими людьми, то хотя бы остаться с няней Таней, что в конце концов и происходило.

Обедали долго, со вкусом на террасе, в тени, неторопливо перебирали семейные новости: здоровье бабушки Эмилии, намечающуюся поездку Ильи с Верой в Евпаторию к родственникам и главную – поступление Маши в школу медицинских сестер. Нина поздравила племянницу.

– Я хочу быть, как вы и дядя Илья, – врачом, только позже, если я пойму, что медицина – это мое, – неожиданно для Нины серьезно объяснила Маша.

«Дети вырастают, – подумала Нина и взглянула на Игоря, – уже пятнадцать, догуливает последние годы детства».

Молодняк расположился на одеялах под орехом. Споря, хохоча, играли в «тише едешь – дальше будешь». Пока женщины убрали со стола, мужчины – Нинины братья и Андрей – ушли в дальний угол сада. Все, кроме Андрея, закурили и внимательно посмотрели друг на друга. Были они людьми, сумевшими состояться: Александр работал главным инженером Южного консервного треста, отвечал за оборудование множества заводов и комбинатов, снабжавших различными консервами огромные территории и армей-

ские склады. Константин был главным бухгалтером большого швейного комбината. Илья же был хирургом. Будучи всего лишь на два года старше Нины, он в медицинском институте учился одновременно с ней. В хирургической клинике родного медицинского института он сейчас и работал. Они все ценили свое не просто достигнутое положение, им было что терять. Помолчали минуту, и Александр подытожил – собственно, для этого они сегодня и собрались:

– Ну что ж, прошла неделя... Благополучно прошла. Мы все живы, мы вместе и... вместе со своими... – глянул он в сторону женщин и детей.

Догорал летний день, и с ним догорало лето 1940 года.

* * *

Сегодня, копаясь в канавке и понемногу забрызгивая себя грязью, она заметила как-то вскользь, что в саду стало почти темно, хотя до вечера было еще далеко. Порыв ветра подхватил ее сарафанчик и забросил подол его почти на плечи. Она оглянулась: верхушки деревьев беспорядочно качались под напором ветра, шумели, потрескивали, как будто им было больно. Хотя Натке уже объяснили, что ветер возникает от движения воздуха из одних мест на земле в другие – из теплых в холодные или наоборот, этого она до конца не поняла, она все-таки в уголке своей души была уверена, что ветер рождается совсем не так, а когда деревья, чем-то недовольные, начинают размахивать ветвями, как люди руками в минуту спора или увлеченной беседы, и они-то и вызывают ветер. Всюду на дорожках выростали фонтанчики пыли, они вбирали в себя мелкие камешки, которыми были посыпаны дорожки. Подхваченные ветром камешки больно секли Наткины ноги, а глаза слезились от горячей пыли, окутавшей все вокруг. На соседних дачах звали в дома детей, раздавались голоса:

– Скорее, скорее сними с веревки белье...

– Забери подушки и книгу из гамака...

Засуетились и у них в доме:

– Ната, Ната!.. – звала ее мать. – Игорь, закрой ставни!

Натка увидела, как брат перебегает от одного окна к другому, закрывая наружные ставни, а мать бежит вглубь сада, находит ее, подхватывает на руки и спешит к дому. Над ними пролетали сорванные ветром мелкие ветки, на крыше грохотало.

– Что это? – спросила Натка.

– Это ураган, – объяснила мать, вбегая в дом, – сильный, очень сильный ветер, а сейчас пойдет дождь... Успеет ли Андрюша вернуться? Я так волнуюсь...

– Успокойся, – сказал Игорь, – папа всегда приезжает в субботу трамваем без десяти четыре. Он, наверное, уже идет от остановки к нам.

– Если трамваи еще ходят...

И тут дом содрогнулся от грохота – потоки дождя обрушились на крышу, как будто много молотков враз застучали, и все невольно посмотрели вверх. Игорь подвел Натку к двери, выходящей на веранду, и поставил на табуретку. В верхнюю половину двери было вставлено стекло, и Натка увидела стену падающей воды, которая, достигнув земли, превращалась в бурлящую реку, текущую в сторону моря. Иногда порывы ветра подхватывали водяные струи, закручивали и бросали на стены дома, они стекали по стеклу, и Натке показалось, что сад и дом вместе с ними уже под водой и плывут в сторону обрыва над морем. Она не успела додумать эту мысль до конца и испугаться, как увидела, что отец, сгибаясь от ветра и прикрывая голову портфелем, с трудом открывает калитку.

– Папа идет!

Мать подбежала и вместе с Игорем, преодолевая давление ветра, приоткрыла дверь, отец потянул ее на себя и вскочил в коридор. С него стекала вода, под ногами сразу же образовалась лужа. Брюки, чесучовый пиджак, рубашка прилипли к телу.

– Ух, – сказал он, – не верится, что добрался. Думал, что останусь на ночь в трамвае. Настоящий августовский шторм. Ужинать, ужинать! – весело закричал он и побежал в спальню переодеваться.

Все так же содрогался дом, так же скрипели ставни под напором ветра, но Натке не было страшно: ведь все дома, и ничего плохого уже не случится. О, это восхитительное ощущение за-

щищенности, которое бывает только в раннем детстве! А потом, взрослея, все больше и больше чувствуешь свою беспомощность, затерянность в мире и одиночество.

Все быстро собрались за столом с видом веселых заговорщиков, объединенных общим секретом, и только девятнадцатилетняя няня Таня вдруг, следуя ходу своих мыслей, спросила:

– Нина Александровна, а помните, вы читали Нате книжку про девочку Элли... Ее домик унесло куда-то в другую страну... А наш?..

Натка встревожилась:

– Мы тоже можем так улететь?

– Ну, вы обе трусихи, – сказала мать. – Нет, нет, никуда мы не улетим. У Элли был деревянный легкий домик, такой, как будочка мороженщика на трамвайной остановке, а наш каменный и как будто даже не маленький... Не бойтесь.

И тут внезапно погас свет, мать в свою очередь переполошилась, голос ее стал испуганным:

– Ната, Игорь! Не двигайтесь, на столе чайник с кипятком, не заденьте случайно!

Через мгновение свет снова вспыхнул, необычно яркий, опять погас, и так несколько раз в такт порывам ветра. И каждая вспышка осталась в памяти Натки четким остановившимся кадром, сколком жизни, унесенным ураганом.

– Провод оборвало ветром, – сказал отец, – сейчас принесу свечи.

Натке не часто доводилось видеть зажженные свечи. Она любила смотреть на живой огонь, на медленно, очень медленно, но все же исчезающую свечу. Куда она исчезает? Объяснение, что ее съедает огонь, казалось ей слишком простым. Ей виделось нечто таинственное в самой природе огня. Сквозь щели в оконных рамах в комнату проникали легкие отголоски неистовства воздуха и воды, огоньки свечей метались, отбрасывая на лица скользящие тени, изменяя их настолько, что Натка временами пугалась – не чужие ли пришли сюда.

– Все, все, – сказала мать. – Таня, иди спать, не волнуйся. Все будет хорошо. Игорь, Ната! Идите сюда, на кровать. Хотите, я расскажу вам одну историю?

Лучшего невозможно было придумать. Они улеглись поперек кровати, по обе стороны от лежащей посередине матери. И она начала:

– В Англии жил писатель, которого звали Редьярд Киплинг. Он не только писал книги, но и путешествовал. Вернее, иначе: сначала он путешествовал, а потом писал книги.

– Я знаю, – нетерпеливо сказал Игорь, – он написал «Маугли».

– Да, и не только «Маугли», – продолжала мать, – жаркие далекие страны, джунгли, иные люди, иные звери – он восхищался ими. И вот в одной из его книг есть рассказ «Рикки-Тикки-Тави» – о маленьком храбром зверьке мангусте, которых спас от кобр Нага и Нагайны вот такую семью, как наша, – папа, мама и двое детишек.

У Игоря горели глаза, он был увлечен, что-то переспрашивал, уточнял и, как поняла Натка, представлял себе весь мамин рассказ в лицах. Натка же устала, и от нее ускользала суть повествования. Она размышляла, почему няня Таня всегда рассказывает или читает сказки о том, чего не бывает, – ковер-самолет, царевна-лягушка, а мамин рассказы похожи на настоящую, не сказочную жизнь, и оканчиваются они всегда неожиданно интересно, о чем не догадываешься до последней минуты. И тут Натка, вероятно, задремала, а когда проснулась, Игоря рядом уже не было. Она увидела, как мать медленно подошла сзади к креслу, в котором сидел отец, положила руки ему на плечи и спросила:

– Андрюша, помнишь...

Отец склонил голову к плечу, прижался щекой к ее руке, потом повернул голову и поцеловал ее руку.

– Конечно, помню. Не надо, только не будем об этом...

* * *

Нина укрыла Натку одеялом и вернулась к Андрею. Он подвинулся в кресле, освобождая для нее место. Нина уткнулась носом, губами в его шею и спросила:

– Скажи, что такое вольтеровские кресла? Читаю в книгах, а все недосуг узнать, какие они. Может, мы с тобой как раз в таком и сидим.

– Может, но меня очень устраивает, что мы вдвоем помещаемся в нем.

Андрей обнял ее плечи. На крыше снова загрохотало – то ли свалилась на нее обломившаяся ветка, то ли сорвало кусок кровли, но сегодня все равно ничем нельзя было помочь ни дому, ни саду, который крушили порывы ветра. Все завтра, завтра... Андрей и Нина молча сидели, перебирая в памяти события такой же августовской бурной ночи, что отшумела шесть лет тому назад. Говорить об этом было больно и страшно, а забыть – невозможно.

В тот день, вернее, уже вечер, Нина шла домой в часов шесть, хотя могла бы прийти на час раньше. Но она вышла из трамвая у вокзала и пошла пешком, зная, что путь до дома займет минут сорок. Всю дорогу она уговаривала себя отойти мысленно от того, что случилось сегодня в ее отделении. «Я иду домой, – говорила она самой себе. – Я уже четырнадцать лет работаю врачом, я увидела тысячи больных – легких и тяжелых, симулянтов, истериков, умирающих. Я не должна приносить домой, где живут мой муж и мой сын, тяжесть своего бессилия, своего разочарования. Профессия – одно, а жизнь женщины – совсем иной мир. Может быть, справедливы были законы прошлого – удел женщины сидеть дома с мужем, детьми, хозяйством, вышиванием и черт знает еще чем, чего я не умею делать, а не работать, если ее к тому не вынуждают крайние обстоятельства. А если работает, то она уже и не совсем настоящая женщина. Но она-то занимается тем, о чем мечтала с ранней юности, нет, с детства.

* * *

Ей было десять лет, когда от сердечной недостаточности умирал ее отец. Ему было всего сорок четыре года, отечный, с синюшным цветом лица, дыхание – с присвистом, он понимал безнадежность своего положения и все просил шепотом прощения у матери за то, что оставляет ее одну с четырьмя детьми, за то, что состояния не успел нажить, хоть и очень старался.

Нина четко, как будто это было вчера, запомнила похороны отца. Как они, четверо детей – старшему Александру, названному в честь отца, было двадцать лет, а младшему из братьев – Илье – двенадцать, мать и ее сестра Стеша, которая жила в их семье,

крепко державшая за руку Нину, стояли у только что засыпанной могилы. Мама тихо шептала:

– Ну как мы оставим Сашу одного?

Александр вздохнул, наверное, только в эту минуту до конца осознав, что теперь вся тяжесть решений лежит на нем, старшем мужчине в семье. Он обнял мать за плечи и сказал:

– Мы придем к папе скоро, на девятый день, как полагается. А теперь домой... Посмотри, дети устали, еле стоят на ногах, – отделил он себя от них, детей.

Вечером Стеша подала чай, заставила мать подняться с постели, усадила всех за стол, пришел из своей комнаты – у него одного в их тесной квартирке была своя комнатуха – Александр. Он выждал какое-то мгновение:

– Так вот... – все подняли головы и посмотрели на Александра. – Я решил оставить университет, надо жить, пойду работать...

– Что ты говоришь? – мать очнулась от прострации, в которой находилась последние дни. Глаза ее загорелись. Казалось, в одну минуту она вновь обрела цель и смысл жизни. – Нет, ты будешь учиться. Не для того ты окончил гимназию с золотой медалью. Вспомни, как отец был счастлив, когда ты поступил в университет. И подумайте, дети, все подумайте... Мы, к сожалению, я не люблю этих слов, – она помолчала, и все ощутили, что гордость не позволяет ей произнести эти слова, хоть их и впустили в жизнь великие русские писатели, но она все же решилась, – бедные люди, и один путь для вас выкарабкаться из этой ямы, – она обвела рукой комнату, – из этих убогих трущоб, этой нищенской жизни – получить образование и должность. Ваш отец пустился в путь, надеясь на свои силы, но, как видите, средств у нас нет. А так как не был он на чиновной службе, нет у меня и у вас даже маленькой пенсии.

– Вот я и говорю – пойду хлопотать о должности в канцелярии Городской думы или куда-нибудь в другое место... В свою гимназию, попрошусь помощником преподавателя... Устроюсь как-то...

Тут неожиданно вмешалась в разговор Стеша:

– Нет, Сашенька, учись. Ты, как говорится, наша надежда... Но не сегодня, в будущем. Помнишь, как мы с Аней и отцом твоим были в гимназии на торжественном акте вручения аттестатов.

Какие были дамы – родительницы и патронессы! А какие были шляпы, платья! Мы были куда поскромнее, хотя и у нас были шляпы неплохие, сделанные своими руками! – с иронией добавила Стеша. – Да не об этом речь... Ты был первым в выпуске, самым лучшим, самым красивым... Мы с твоей мамой – еще не старухи. Правда, Аня? Что-нибудь да придумаем. Все вместе не пропадем...

* * *

Вот тогда-то в ней и поселилась эта мечта – спасти людей. Но как часто ты не можешь помочь, и никакие твои знания, добро-совестность, чувство врачебного долга, чуткость – все в пустую: человека не спасешь. Грустно привыкаешь и к смерти. Но этот, которого не стало сегодня... Почему его обреченность была так сразу тягостна для нее? Его шепот, а по-другому он уже и не мог говорить, напомнил голос отца в последние дни его жизни. Еще молодой мужчина, тридцати восьми лет, с удивительной красоты бархатными карими глазами, с длинными пушистыми ресницами, которые отбрасывали в каком-то повороте головы тени на щеки цвета мела, поступил к ней в отделение с диагнозом «аневризма аорты». В его случае не нужны были обследования – мешок чудовищно расширенной аорты пульсировал на худощавой шее, не давая застегнуть воротник рубашки, не давая дышать, уже не давая жить. Малейшее напряжение вызывало отдышку, обмороки. Главный врач Александр Дмитриевич, осмотрев его, сказал:

– Удивительно, что он дожил почти до сорока лет. Он был обречен с младенчества, это врожденный порок, и он усугублялся с каждым днем. Что с вами, Нина Александровна, почему вы так переживаете? Я знаю, вы чуткий человек, но это далеко не первый и далеко не последний больной, которому мы не можем помочь.

– Да, я понимаю: в этом случае нам остается только пассивно ждать, когда он умрет, но давайте назначим ему хоть какие-нибудь медикаменты, чтобы у него была иллюзия, что его лечат. У него такое тонкое интеллигентное лицо... – добавила она.

– Э, дорогая Нина Александровна, да вы воспринимаете его на эмоциональном уровне, недопустимом для врача, – Александр Дмитриевич подошел к окну, посмотрел на больничный двор

и с вовсе не свойственной ему страстностью в голосе продолжал: – Уверен, что в будущем, не при моей жизни, но, возможно, при вашей, таких, как он, будут оперировать. Я даже представляю, как это нужно делать, но, мне кажется, должно быть создано много разных приборов, которые поддерживали бы жизнь в человеке, пока она к нему не вернется сама.

Дюссельдорф

Продолжение следует

